

Смеркалось. За окнами сгущались сумерки, и в кабинете пришлось зажечь лампы. Резкий электрический свет словно опомнил господина Толстого: он отложил рукопись, посидел немного, приходя в себя, и наконец поднялся, чтобы откланяться.

Но даже после его ухода воздух в конторе оставался гнетущим. Один хмурился, другой лениво потягивался, третий застыл в глубоком раздумье.

— До чего же жуткий старик, — не выдержав, вздохнул Булгаков. — Стоило ему на меня взглянуть, как я сразу почувствовал себя нашкодившим мальчишкой перед строгим отцом. Аж язык присох к гортани. У вас не было такого чувства?

— Что-то похожее, — рассеянно бросил Аль-Хайтам. Его мысли витали далеко от пустой болтовни коллеги.

— Да, подавляет, — негромко согласился Фёдор.

Ему почудилось, будто его прижали к позорному столбу на страшном судилище. Глядя на кожаное сиденье стула, ещё хранившее чужое тепло, Достоевский задумчиво потер кончики пальцев и едва заметно усмехнулся.

"Неужели этот вельможа действительно пришёл сюда только ради бумаг своего старого приятеля?"

Забрать рукописи господину Толстому не позволили, а потому он повадился ходить в издательство каждый день, выкраивая часок-другой для чтения. Дел у него, по всей видимости, не водилось. Судя по недавним переговорам с мадемуазель Полиной, он принадлежал к числу тех праздных аристократов, чьи карманы никогда не пустовали. Однако в личном общении граф выказывал удивительную простоту: никакой спеси, никаких витиеватых словесных кружев, столь любезных светским господам. Если не смотреть на его внушительный, почти грозный облик, в душе он оставался человеком близким к народу. Постепенно, несмотря на первое пугающее впечатление, он сошёлся с тремя обитателями кабинета. Завязались неторопливые разговоры о насущных пустяках и городских слухах.

— Вы не похожи на русского, сударь, — Толстой задал этот вопрос с присущей ему прямоотой. Он стал уже четвёртым, кто спросил об этом.

На улице Аль-Хайтам прятал лицо, натягивая шляпу до самого носа, так что прохожим доставались лишь редкие пряди непослушных пепельных волос. Но здесь, в тепле, сбросив тяжёлое пальто, он выглядел чужаком — точно изящный серый сокол, затесавшийся в берлогу к бурым медведям.

— Так и есть, — спокойно подтвердил Аль-Хайтам. Юлить и темнить не имело смысла — излишняя скрытность лишь распалила бы любопытство.

— Изволите путешествовать? Но отчего же в столь суровую пору?

— Прибыл ради учёбы. К несчастью, в дороге произошли некоторые недоразумения, да и местный климат я недооценил по неопытности.

Всякий, кто знал характер Аль-Хайтама, мгновенно распознал бы в этих словах наглую ложь. Но его собеседник не принадлежал к числу близких знакомых, а потому безобидный обман лишь придал беседе более доверительный тон.

— Всякое начинание сопряжено с невзгодами, — добродушно приободрил его Толстой. — Главное, что вы добрались до Москвы целым и невредимым. А дела... что же, дела подождут, пока не сойдут снега.

— Пожалуй. Как говорится, нет худа без добра.

— Вот и я ехал в Москву с твёрдым намерением заявить о себе всему миру, — вставил Булгаков, разбережённый воспоминаниями о собственных злоключениях. — А кончилось тем, что чуть не очутился под забором в первые же дни.

Кстати говоря, из-за частых визитов Толстого господин В в последнее время совсем перестал показываться в конторе, отчего Михаилу Афанасьевичу сделалось как-то не по себе. Он даже успел немного соскучиться по этому странному господину.

Внимание графа переключилось на Булгакова. Они принялись обсуждать нынешнее житейское бытие в первопрестольной.

О Москве нынче трудно было сказать что-то определённое. Благородное сословие продолжало пускаться по ветру дедовские состояния, беднота по-прежнему прозябала в нищете. Так было вчера, так текло сегодня, и, верно, так будет продолжаться ещё не одно десятилетие. Единственным, что по-настоящему всколыхало сонный город, стала загадочная гибель нескольких думских гласных да споры, разгоревшиеся вокруг новых сочинений господина Тургенева.

Толстой признался, что его собственные представления о городе изрядно устарели: он уже много лет не покидал своего имения и последние городские новости узнал только сейчас, из уст молодого литератора.

— Полноте, я ведь тоже пересказываю чужие басни, — смутился Булгаков, устыдившись своего хвастовства.

— И всё же у вас выходит на редкость живо, — улыбнулся граф.

Воспользовавшись тем, что собеседники увлеклись спором, Аль-Хайтам вышел в коридор налить чаю.

— Что, тебе тоже налить? — спросил он, не оборачиваясь, когда за спиной мягко щелкнул замок закрывающейся двери. Это вошёл Фёдор.

— Премного благодарен, но нет. Я пришёл поговорить.

Аль-Хайтам промолчал, мерно созерцая струйку горячей воды.

— Вас ничуть не занимает личность господина Толстого? — вкрадчиво поинтересовался Фёдор.

Фёдор подошёл ближе, его шаги были бесшумными.

"Он ведь якобы приехал за рукописями друга, но никуда не спешит. Эта его странная эсперская способность... Неужели он сам не понимает, какой эсперской способностью владеет? Или не может её сдерживать? А может, это изощрённая игра?"

— Говори прямо, — отозвался Аль-Хайтам. — Ты ведь просто боишься.

Бойтся, что за маской добродушного графа скрывается кто-то куда более опасный. Бойтся, что этот человек уже обратил внимание на подозрительного чужеземца и неизбежно выйдет на него самого — беглого убийцу, чьи руки по локоть в крови.

Всего одного мимолётного взгляда Фёдору хватило, чтобы осознать страшную истину: его собственная эсперская способность «Преступление и наказание» была полностью подавлена сокрушительным присутствием Толстого. И что мог поделаться нищий, бесправный бродяга против могущественного вельможи?

Аль-Хайтам повернулся, держа в руках дымящуюся чашку. Тонкая струйка пара поднималась вверх, разделяя их лица полупрозрачной пеленой.

— Возможно, он не лгал. И рукописи — единственное, что его привело.

— Не лгал, но не договорил, — Фёдор сощурился, обнажая суть своих наблюдений. Он давно уяснил, что с этим чужеземцем бесполезно ходить вокруг да около — тот мастерски уклонялся от прямых ответов. — Рукописи могли быть лишь удобным предлогом.

Хайтам промолчал. Он прекрасно понимал, что его прикрытие, состряпанное Системой, развалится при первом же серьёзном дознании. Сам по себе он не представлял угрозы — тихий учёный, не лезущий в чужие дела. Но Фёдор... Они были скованы одной цепью: падение одного неизбежно утащило бы на дно другого.

— Жизнь была бы куда проще, если бы твоя голова была занята чем-то менее грандиозным, — сухо заметил Аль-Хайтам.

Он не сомневался: появление Толстого всколыхнёт тихий омут московского общества. И заставить Фёдора остаться в стороне, не подлить масла в огонь этой зарождающейся бури — задача заведомо невыполнимая.

Фёдор сделал вид, будто пропустил шпильку мимо ушей, и преспокойно продолжил развивать свою мысль.

Впрочем, виновник их споров вскоре покинул стены издательства.

У крыльца его ждал экипаж — старинный черно-бурый автомобиль с массивными круглыми фарами на крыльях и куцем багажником. Граф расположился на заднем сиденье, безучастно глядя на пробегающие за стеклом столичные улицы.

"Как всё изменилось... Совсем не так, как в былые годы"

В груди зашевелилась лёгкая тоска. Разум понимал, что время не стоит на месте, но воочию наблюдать за тем, как былое стирается новыми порядками, всегда тяжело. Чужак в собственном отечестве — глупое, но неотвязное чувство.

Автомобиль долго петлял по переулкам, пока наконец не затормозил у ворот его временной резиденции. Этот дом уступал в размерах его родовому поместью, но был обставлен со всем возможным комфортом.

— Господин Толстой, — встречающий на пороге служащий согнулся в почтительном поклоне.

Граф лишь коротко кивнул. На ходу стягивая перчатки и сбрасывая тяжёлое пальто, он прошёл напрямик в кабинет. Опустившись в глубокое кресло напротив просителя, Толстой взял со стола стопку бумаг. С каждой прочитанной строчкой его седые брови сдвигались всё сильнее, прорезая глубокую складку на лбу.

— Хм... Стоит человеку обрести силу, превосходящую его жалкий разум, как он тут же мнит себя венцом творения, — пробормотал Толстой. Эта истина была ему слишком хорошо знакома.

Жажда власти, стремление подмять под себя ближнего своего — вечные пороки человеческой натуры, порождённые ненасытной алчностью. Но когда в руки безумцев попадает сила богов, они превращаются в свору цепных псов, рвущих друг другу глотки за жирный кусок. И методы их становятся ужасающе кровавыми.

Собеседник сжался под его тяжёлым, грозовым взглядом, со страхом ловя каждое слово. И в этой трусости не было ничего удивительного.

В конце концов, перед ним сидел единственный зарегистрированный в Российской империи превосходящий эспер — великий Лев Толстой.

— Я знаю, чем это грозит... Но отступить поздно.

Голос говорившего звучал глухо, точно сквозь толщу воды, долетали лишь обрывки фраз.

— Ежели ведаешь, зачем лезешь в эту петлю?! Из ума выжил со своими мужиками да пашней? Погляди на себя, на кого ты стал похож!

Тургенев чувствовал, как ярость горячей волной ударяет в голову. Гнев душил его, заставляя слова срываться с губ невнятным, лихорадочным потоком.

— Тебе не понять... Мы слишком разные.

Эхо давней ссоры растаяло в воздухе, и Иван Сергеевич Тургенев открыл глаза. Тело казалось тяжёлым, ватным после беспокойного сна. Он не сразу сообразил, что всё это — лишь призрак прошлого, незванный гость из мира грёз.

Он уже и забыл, когда в последний раз видел сны.

Тургенев повернул голову к окну. Стёкла густо покрывали ледяные узоры, за которыми расстилалась глухая морозная мгла, скрывая мир под белёсым саваном. В этом доме он провёл уже немало дней, но, просыпаясь, по старой привычке каждый раз оглядывал комнату, лишь затем, чтобы вновь убедиться: он здесь совершенно один.

Нельзя сказать, что он томился от скуки: ходил на охоту, подолгу писал письма, корпел над рукописями.

Но долгое одиночество — яд медленного действия. Оно незаметно подтачивает рассудок. Когда Тургенев впервые поймал себя на том, что вслух разговаривает с пустотой, он испугался собственного голоса. Застыл как вкопанный, силился вспомнить, что только что произнёс, но память упрямо подсовывала лишь гулкую тишину.

— Да, старею, знать, — с горькой усмешкой прошептал он.

Память дряхлаела, стирая важные мелочи, но упрямо хранила дела давно минувших дней, когда кровь ещё кипела молодой отвагой. Тот памятный июль. Двое упрямцев. Бесконечные, яростные споры на веранде и, как итог — окончательный, беспощадный разрыв.

Встретятся они сейчас — всё повторилось бы сызнова. Опять крики, опять взаимные упрёки.

Как бы высоко он ни ценил гений своего старого друга, принять его новые убеждения он не мог. За долгие годы разлуки Тургенев пришёл к мысли, что виноватых в той ссоре не было. Просто один проявил излишнюю горячность, а другой впал в юношеское упрямство.

— Почту-то сегодня принесли? — спросил он себя и потёр виски, прогоняя остатки сна.

<http://bllate.org/book/18256/1755705>